



Н. МИНСКИЙ

Философия тоски и жажда воли

М. Горький. Очерки и рассказы. Том первый.
СПб., 1898 г.

Имя г. Горького стало попадаться в печати сравнительно недавно и в какие-нибудь два-три года приобрело значительную популярность. Лучшие наши журналы охотно помещали рассказы молодого плодовитого автора, и критика относилась к каждому его новому произведению с тем нервным вниманием, которое для начинающего писателя лучше всяких похвал. По всему видно было, что на г. Горького возлагаются большие надежды, и вот почему я с любопытством ждал появления в свет сборника его повестей. Для молодого беллетриста, в особенности если он пишет небольшие по объему рассказы, издание такого сборника является шагом чрезвычайно важным, а иногда и роковым. Я живо помню пример писателя, о котором, пока его рассказы печатались отдельно, говорилось не иначе, как о втором Тургеневе, и который, едва только эти рассказы были собраны в два объемистых тома, вдруг отошел на второй план, где он обретаётся и до сих пор. Капли воды, казавшиеся в отдельности прозрачными, обнаружили свой мутноватый цвет, когда их собрали вместе. К счастью, на г. Горьком этот печальный случай не повторился, и, прочитав первый том его «Очерков и рассказов», можно с уверенностью сказать, что в нашей литературе в самом деле народился свежий, незаурядный и, главное, своеобразный талант, порою даже слишком своеобразный, не лишенный странностей и недостатков, но в деле искусства свои недостатки всегда предпочтительнее чужих достоинств. А г. Горький берет свои вдохновения не из чужих книг или журнальных статей, а из действительности, какой она ему представляется, и из собственной души. У него свой круг из-

любленных тем — жизнь мелких мещан, матросов, босяков, нищих, — своя излюбленная природа — южно-русские степи и море, — своя философия — предпочтение вольных, сильных инстинктов жизни перед надуманной мудростью и святостью. Вообще, момент силы преобладает над всеми другими в темпераменте и в мирозерцании г. Горького. В описаниях он выбирает самые яркие, кричащие краски, отношения действующих лиц напрягает до степени яростных столкновений на жизнь и на смерть, и в этих коллизиях симпатии автора всегда на стороне сильнейшего. Каждый рассказ г. Горького содержит в себе целый мир бытовых подробностей и сложную внутреннюю драму, в каждой снова и снова решается вопрос о цели жизни, и как бы вы ни относились к манере автора и к его идеям, вы невольно поддаетесь изобразительной силе его таланта и страстной искренности. Непосредственное впечатление, которое выносите из чтения Горького, очень сильно и безусловно в пользу автора, и если бы я мог ограничиться этим впечатлением, мой критический отзыв превратился бы в сплошную похвалу. Но помимо поверхностного впечатления от книги есть еще последующее о ней раздумье, есть законы и традиции искусства, есть указания опыта, и вот почему, несмотря на симпатию, которую мне внушает творчество г. Горького, я должен сделать несколько ограничительных замечаний о его таланте, по крайней мере, насколько этот талант выразился в первом томе его рассказов.

По свежести и уверенности письма, по независимости тона и по легкости вдохновения г. Горький среди молодых писателей всего более напоминает г. Антона Чехова; но если продолжать параллель между ними, то все выгоды от такого сравнения окажутся на стороне г. Чехова. И прежде всего это окажется при сравнении художественных темпераментов обоих писателей.

В русской литературе, невзирая на различие манер и тенденций, существует один незыблемый завет, для всех обязательный и всеми принятый, — завет избегать сентиментальности и мелодраматизма. Едва ли можно утверждать, что русской натуре вообще чужда сентиментальность, потому что была пора, когда и у нас процветали слезливые повести и драмы, но со времен Пушкина эту художественную фальшь как рукой сняло. Каждый стих Пушкина вдохновлен чувством, но у него нет ни одного стиха, испорченного чувствительностью. Пушкин смотрел на жизнь как на великую комедию, и по его следам пошли другие наши писатели. Лермонтов победил свой страстный темперамент демоническим холодом мысли, Гоголь одолел

врожденную хохлацкую чувствительность силой своего вещего смеха, Тургенева защищали от чувствительности его скептицизм и барская артистичность, Достоевский, более всего склонный драматизировать жизнь, не унизился до слезливости благодаря почти дикой, священной радости, с какою он изображал бездны страданий и падения. А таким писателям, как Толстой, Писемский, Щедрин, и бороться не приходилось с сентиментальностью: ее и в помине не было в их суровой, правдивой натуре. Первый против пушкинской традиции пошел Некрасов своими слезливыми поэмами о народном горе, и писатели последних десятилетий выросли под его влиянием. От упрека в сентиментальной слезливости не свободны ни Гаршин, ни в особенности г. Короленко, произведения которого сплошь да рядом кажутся переводом с польского или с малороссийского. Единственным в этом отношении достойным преемником наших старых мастеров является Антон Чехов, которого если можно в чем упрекнуть, так разве в том, что его объективность иногда граничит с безразличием, а комедия изображаемой им жизни часто переходит в фарс, но в сентиментальности и мелодраматизме — этих двух кардинальных грехах против художественной правды — он еще ни разу до сих пор не провинился. К сожалению, этого нельзя сказать о г. Горьком. Страстный и в то же время рассудочный, он склонен всюду видеть драму, а когда ход драмы кажется ему недостаточно занимательным, он не прочь превратить ее и в мелодраму, лишь бы сильнее потрясти свои собственные нервы и нервы читателя. Я не обвиняю г. Горького в сентиментальности; это значило бы изречь ему смертный приговор. Но некоторую наклонность к преувеличению и к крикливости в нем нельзя отрицать, и объясняется это главным образом его нетерпеливо-страстным, субъективным отношением к изображаемой жизни. Возьмем, например, его рассказ «Дед Архип и Ленька». Тема рассказа и сама по себе чрезвычайно трогательна. Больной, умирающий дед Архип и его десятилетний внучек, вытиснутые из России голодом в чужие степи, бродят по Кубани, из одной станицы в другую, и питаются Христовым именем. Деда угнетает мысль о близкой смерти и о том, что станет без него с бесприютным Ленькой. Чтобы обеспечить его будущее, дед решается на кражу, но честный, мечтательный мальчик не может проникнуть в расчеты старика, и вот однажды, когда, изгнанные из станицы по подозрению в краже они лежат у околицы и дед хвастливо показывает Леньке искусно припрятанные им украденные предметы, мальчик в одном из них узнает тот шелковый платок, по

которому так убивалась одна станичная девочка, которую он напрасно старался утешить.

«— Кабы сто рублей... скопить! — шепчет дед. — Умер бы я тогда спокойно.

— Ну! — вдруг вспыхнуло что-то в Леньке. — Молчи уж ты! Умер бы, умер бы... А не умираешь вот... Воруешь!.. — взвизгнул Ленька и вдруг, весь дрожа, вскочил на ноги. — Вор ты старый!.. У-у! — и, сжав маленький, сухой кулачок, он потряс им перед носом внезапно замолкшего деда и снова грузно опустился на землю, продолжая сквозь зубы: у дити украл!.. Ах, хорошо! Старый, а туда же... Не будет тебе на том свете прощения за это...» (I, 57—58).

Столкновение, как видите, чрезвычайно сильное, и положение деда истинно трагическое. Но автор этим не довольствуется, и на голову бедных людей призывает грозу, освещает их молниями и заглушает их слова раскатами грома:

«Разорвав небо, молния осветила их обоих, рядом друг с другом, скорченных, маленьких, обливаемых потоками воды с ветвей дерева... Дед махал рукою в воздухе и все говорил что-то, уже уставая и почти задыхаясь. Взглянув ему в лицо, Ленька крикнул от ужаса... При синем блеске молний оно казалось мертвым, а вращавшиеся в нем тусклые глаза были безумны и страшны... Леньке показалось, что сейчас дед сделает что-то с ним. — Дедушка! Пойдем!.. — взвизгнул он, ткнув свою голову на колени деда. Дед склонился над ним, обняв его своими руками, тонкими и костлявыми, крепко прижал к себе, и, тиская его, вдруг взвыл сильно и пронзительно, как волк, схваченный капканом. Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия, Ленька вырвался от него, вскочил на ноги и стрелой помчался куда-то вперед, широко раскрыв глаза, ослепленный молнией, падая, вставая...» (I, 60).

Кончается тем, что дед умирает от упреков внука и от грозы, внук умирает от страха перед дедом и также от грозы, а читатель, пораженный и грозою, и судьбою обоих нищих, и трагическим многословием автора, с недоумением оглядывается на прочитанную повесть и невольно спрашивает себя: а правда ли все это?

Еще больше, чем «Дед Архип и Ленька», мелодраматическими красотами испорчен другой рассказ г. Горького «Макар Чудра». В погоне за сильными и вольными людьми, автор заставляет старого цыгана Чудру рассказать о двух таких степных героях, красавце Лойко и красавице Радде. Оба они друг друга прекраснее, и гордее, и смелее, и вольнолюбивее, а Лойко к

тому же оказывается гениальным музыкантом. «Проведет, бывало, по струнам смычком, и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз, и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать, и смеяться хотелось в одно время, слушая его песни. Вот тебе сейчас кто-то горько стонет из-под смычка... А вот степь говорит небу сказки, тихие, печальные сказки...» (I, 8). И так далее, в том же поэтическом тоне рассказывается, как Радда и Лойко полюбили друг друга, но не могли сойтись, потому что еще более любили волю; как гордая красавица хотела унижить Лойко и, прежде чем идти за него замуж, требовала, чтобы он поклонился ей в ноги; как Лойко вонзил ей в сердце кривой нож, а она, зажав рану прядью своих черных волос, сказала громко и внятно: «Прощай, богатырь Лойко Зобар! Я знала, что ты так сделаешь», да и умерла; как потом отец Радды заколол Лойко и как герой и героиня прекрасны были после смерти. Впрочем, на этом рассказе, самом слабом во всей книге, я не буду настаивать, а равно не стану приводить дальнейшие доказательства склонности г. Горького к мелодраматизму, потому что, имея дело с молодым писателем, одинаково опасно подчеркивать как достоинства его, так и недостатки. Тем более, что мне еще остается говорить о своеобразном мирозерцании г. Горького, тоже достаточно изуродованном субъективным неистовством автора. Он не довольствуется воплощением своих идей в действиях и образах, а сам вмешивается в толпу изображаемых им лиц, подсказывает то одному, то другому свои заветные мысли. Вследствие этого получается то, что почти в каждом его рассказе имеется мещанин, погруженный в философские рассуждения о цели жизни. Но сама философия г. Горького стоит того, чтобы на ней остановиться несколько подольше.

Г. Горький — южанин, и действие почти всех его рассказов разыгрывается там, среди приволья южно-русских степей, на побережье свободного моря. Герои этих рассказов не интеллигенты и не мирные мужики, а какие-то темные и беспокойные люди, потомки казацкой вольницы, охваченные тоскою городской жизни и жаждой приволья и почти всегда кончающие трагически, сознательно делаясь бродягами, босяками и контрабандистами, не потому, что в них нет сознания добра и зла, а потому, что в них бродят слишком большие силы, которым тесно в рамках старых понятий о добре и зле и которым исход только в разгуле кабаков да в просторе степей. Г. Горький изображает не просто босяков, а каких-то сверхбосяков и сверхбродяг, проповедников какого-то нового провинциального

нищепанства и приазовского демонизма. Уже знакомому нам старому цыгану Макару Чудре автор вкладывает в уста целую противоположительную теорию бродяжничества, и вот что говорит нам этот степной Ницше:

«Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее, те ничего не получают, и всякий сам учится.

Смешные они, те твои люди. Собрались в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, — он широко повел рукой на степь. — И все работают. Зачем, кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, дураком. — Что ж, он родился затем, что ли, чтобы поковырять землю, да умереть, не успев даже могилу самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Эге! Он раб, как только родился и во всю жизнь раб, да все тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет немного.

А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумагу, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить — иди, иди и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон, как день и ночь вечно бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает» (I, 2—3).

Жить, не задумываясь над жизнью, жить в меру не своего разумения, а своих сил; любить силу, в чем бы она ни проявлялась, и презирать слабость, под какими бы словами она ни пряталась, вот идеал героев г. Горького и, может быть, его самого. В превосходно написанном рассказе «На плотях» идеал этот изображен в лице могучего старика Силана Петрова, а в виде контраста представлен его хилый, богобоязненный сын Митрий. В темную, грозную ночь по большой реке движутся плоты; в хвосте, у рулевых весел Митрий рассказывает работнику Сергею о своей неудачной женитьбе:

— «Ну, пришли мы спать. Я и говорю ей: не могу, мол, я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек боль-

ной, хилый. И совсем, мол, я жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня, — женись, говорит, да и все! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимать... Пакость одна, да грех... Дети тоже... За них ответ Богу дать надо...

— Пакость! — взвизгивает Сергей, и громогласно хохочет. — Ну, и что ж она, Марька-то? а?

— Ну... Что же, говорит, мне делать теперь? Плачет, сидит. Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, — говорит, — я уродина какая? Бесстыдница она, Серега. И злая. Что же, — говорит, — мне с моим здоровьем к свекру что-ли идти? Я говорю: как хошь, мол... Куда хошь иди. Мне, мол, супротив души не возможно поступить» (I, 247).

Но этот довод не убеждает работника.

— В душе! — возражает он. — Эк тоже... Мало ли что в душе-то есть. Всему запрета не полагать — нельзя. Душа, душа! Ее, брат, понимать надо, а потом уж и того.

— Нет, ты это не так, Сергей, — горячо заговорил Митрий, — точно вспыхнув вдруг. Душа-то, брат, всегда чиста, как росинка. В скорлупе она, вот что. Глубоко она. А коли ты к ней прислушаешься, так не ошибешься. Всегда по-божески будет, коли по душе сделано. В душе, ведь, Бог-то, и закон, значит, в ней. Богом она создана, Богом в человека вдунута. Нужно только в нее заглянуть уметь. Нужно только не жалеючи себя...» (I, 248).

А в то же время у передних весел стоял Силан Петрович, «в широкой красной рубахе, с растегнутым воротом, обнажившим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь» и почти на глазах своего благочестивого сына ласкал жену его Марью, «кругленькую, полную, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босую, в одном мокром сарафане, приставшем к ее телу и ясно обрисовавшему его». (Шельма: жадна жить! — определяет ее Сергей.) На ее робкое замечание, что их видно с того конца, Силан энергически отвечает: пускай видят! Он не боится ни людей, ни греха. «Грех! Все знаю! И все преступил! Потому стоит. Один раз на свете-то живут, и кажинный день умереть можно» (I, 256). Потом, вспомнив о сынке, старик прибавляет:

«— Оять он наемдни толковал. Батюшка, говорит, али это не стыд — позор тебе и мне? Брось ты ее, тебя-то, то есть, — усмехнулся Силан Петров, — брось, говорит, войди в меру. Сын, мол, мой милый, отойди прочь, коли жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гнилую. Ничего от твоей добродетели не

останется. На муку, мол, себе родил я тебя, выродка. Дрожит. Батюшка! али, говорит, я виноват? Виноват, мол, комар пискливый, — потому камень ты на моей дороге. Виноват, мол, потому постоять за себя не умеешь. Мертвечина, мол, ты, стерва тухлая. Кабы, мол, ты здоров был, — хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору несчастную. Воет! — Эх, Марья! Плохи люди стали!» (I, 257).

Таковы эти оба представителя, один — стихийной силы, а другой — нравственных размышлений. И на чьей стороне симпатии автора, не может быть сомнений. Силан Петров до конца остается могучим и победительным, а Митрий не выдерживает своей роли, и когда работник Сергей донимает его насмешками, что он будет своему сыну не тятькой, а двоюродным братом, а тятькой у него будет дедушка, он взволнованно начинает шептать: «Сергей! Христа ради прошу, — не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Христом Богом прошу, — не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь! Брошусь в реку я, грех ляжет на тебя большой!.. Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позор мой... мука лютая... Свирепые вы люди! Уйду я! На век уйду... Не в мочь мне...» (I, 253).

Таким образом, ржа митриевой святости на глазах читателя разлетается в куски, а под нею открываются лохмотья сладости и безволия. Правым оказывается сильнейший, потому что он большего требует от жизни, а виноват слабый, потому что он постоять за себя не умеет. Нужно сознаться, что в нашей литературе, насквозь пропитанной учением о любви и добре, такая яркая проповедь права сильного является довольно новой и рискованной.

В другом рассказе, озаглавленном «Тоска», изображается также борьба между разгулом стихийной страсти и раздумьем хилой добродетели, и победа, конечно, остается на стороне разгула. Мельник Тихон Павлович, сытый, самодовольный кулак, за свои проделки с мужиками обличенный в газете местным школьным учителем, как-то побывал в городе, случайно очутился на похоронах литератора и, вернувшись к себе на мельницу, затосковал, сам ясно не зная, о чем, вообще, о бессмысленности жизни, о суете мира сего. Как уроженец степей, он вдруг почувствовал тесноту житейских рамок и захотел свободы. Его тучная жена завалилась спать, а он, с болью в отуманенной душе бродит по садику и думает какие-то обрывки мыслей. Вдруг он слышит за плетнем шорох и поцелуи. Это его работник Кузьма Косяк, такой же принципиальный сверхбродяга,

как Макар Чудра, ласкает деревенскую красавицу Мотрю и среди поцелуев объявляет ей, что вскоре уходит за Кубань.

«— А я-то как же, Кузя? Ты подумай, как я без тебя-то буду? Ведь люблю я тебя, соколика, лю-люблю, вольный ты мой! — отвечал Кузьке низкий женский контральто.

— Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрощался, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь — своим глазам веры нет! Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну? Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю. Родился я, слышь, под забором, и помру под ним. Судьба такая. По седые волосы вдоль и поперек шляться буду... А на одном месте скучно мне...» (I, 279—280).

Слушает эти речи мельник, и вдруг «он почувствовал зависть к этому веселому, вольному человеку за его умение жить, за его уверенность в своей правоте», а когда Кузька, спровадив свою докучливую красавицу, перелезает в садик, между хозяином и работником происходит ницшеанский разговор о «двух моралях».

«— А грех — как? Ведь грех, чай! — говорит хозяин, попрекая Кузьку его связью с Мотрей.

— Чего, грех?

— А так-то действовать...

— Да, ведь ребята-то одним, поди-ка, порядком рождаются, что от мужа он, что от прохожего, — сказал Кузьма и скептически сплюнул в сторону.

— Это ты совсем напрасно. От мужа — он в законе, а ежели от тебя — куда его? Она, девка-то, возьмет да от сраму в пруд дитя-то и сунет. А на тебе грех! — донимал мельник работника, чувствуя при этом какое-то удовольствие.

— Да, ведь, хозяин, коли покрепче подумать, — серьезно и сухо заговорил Кузьма, — так выходит, что как ни живи, все грешно! И так грешно, и вот этак грешно! — пояснил Кузьма, махнув рукой вправо и влево. — Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно, и не сделал — грешно. Рази тут разберешь? В монастырь, что ли идти? Чай, неохота» (I, 283).

А потом, как бы отыскав философскую формулу для своих мыслей, Кузька прибавляет: «Самому против себя не надо спорить. Коли кто против себя заспорит — пиши, пропал человек». Хозяину же, заметив его настроение, он дает такой совет:

— «Вы бы, хозяин, поехали до города да и кутнули там вволю; вот оно вам и помогло бы. А то у вас, видно, на душе-то, как у трубочиста за пазухой» (I, 288).

Но у хозяина на уме другое. Он хочет очистить свою душу не кутежем, а покаянной беседой с добродетельным школьным учителем, обличившим его в печати. Из этой беседы, однако, ничего не выходит, и мельник, приехавший к интеллигенту с лучшими намерениями поговорить по душе и покаяться, как-то сам собою, с первого же слова начинает с ним браниться, между прочим и потому, что добродетельный учитель, подобно Митрию Силановичу, оказывается озлобленным, мелким и слабым человеком. Сцена эта написана с большой правдой и твердой рукой. Сбывается, по предсказанию Кузьки, и дело кончается бешеным кутежем Тихона Павловича в компании падших женщин и разных темных личностей, причем, конечно, не обходится без философских разговоров о том, что надо жить не рассуждая, а подчиняясь стихийным страстям: «Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, — так, значит, надо, и я тут не при чем... Живи и не кобеннись, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных твоих свойств и намерений и из движений жизни. Это называется философия-с действительной жизни».

Философия эта находит своих проповедников почти во всех других рассказах г. Горького. Тоска жизни и жажда воли — именно стихийной воли, а не разумной свободы — вот два мотива, две струны, на которых г. Горький не перестает играть, вследствие чего его творчество приобретает известную цельность, но вместе с тем и неизбежное однообразие. Сознаюсь, что видеть в философии г. Горького отражение нищепанства или индивидуализма Ибсена я не решаюсь. Если эти учения и в самом деле отразились в миросозерцании молодого беллетриста, то в весьма искаженном виде, и едва ли кто-нибудь из последователей Зара-тустры¹ согласится на замену сверхчеловеческой свободы русской удалью и стремления по ту сторону добра и зла бегством по ту сторону Кубани. Но, несмотря на это, книга г. Горького кажется мне серьезным литературным явлением, хотя бы потому, что молодой автор дерзнул взглянуть на жизнь самостоятельно, без тех наглазников, которыми разные прошеные и не прошеные учителя и губернеры так ревниво стараются ограничить кругозор русского интеллигентного человека. Много смелости в замыслах г. Горького, и хочется верить, что эта смелость — признак недюжинной силы.

Я воздерживаюсь от заключительных выводов о таланте г. Горького, тем более что, заканчивая фельетон, узнал, что на днях поступит в продажу и второй том его рассказов. Вскоре надеюсь вернуться к этому любопытному писателю и тогда постараюсь на более зрелых его произведениях проверить свое первое впечатление.

